

Содержание

ОПОЗДАВШАЯ МОЛОДЕЖЬ

Часть первая.

Лето 1945 года. Деревня 7

Часть вторая.

195... год. Токио 165

ВЫРЫВАЙ РОСТКИ, ИСТРЕБЛЯЙ ДЕТЕНЫШЕЙ

Глава первая. Прибытие 419

Глава вторая. Первое маленькое задание 440

Глава третья. Эпидемия и бегство
деревенских 457

Глава четвертая. Блокада 468

Глава пятая. Солидарность брошенных 484

Глава шестая. Любовь 502

Глава седьмая. Охота и праздник в снегу 514

Глава восьмая. Внезапная вспышка болезни
и паника 530

Глава девятая. Возвращение жителей деревни
и убийство солдата 546

Глава десятая. Суд и изгнание 562



Опоздавшая молодежь



ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Лето 1945 года. Деревня

Глава 1

— Я не смогу этого сделать, — сказал я. — Я ведь не ребенок и не птица.

У.Х. Оден

Ты каждый день опаздываешь. И нечего на меня коситься! — сказала учительница. — А ведь еще недавно ты был самым лучшим учеником среди шестиклассников нашей школы, был настоящим маленьким гражданином.

А я и не косился на нее, просто правый глаз у меня косит. Я опускаю голову. Потом краешком глаза смотрю на залитую солнцем маленькую спортивную площадку.

— Ты что-то скрываешь. Признайся, в чем дело. И попробуй только не сказать... — Хлоп. Правая щека вспыхивает огнем.

Я быстро поднимаю глаза и смотрю на толстое и красное, в капельках пота лицо учительницы. Чувствую, что она колеблется: звать или не звать этого верзилу, помощника директора, чтобы тот наказал меня и силой заставил сознаться во всем. На мои уши набрасываются шершавые, цепкие пальцы и, точно слепни, больно впиваются в них. От неожиданности и боли я пугаюсь, но тут же успокаиваю себя: «Она хочет наказать меня, не прибегая ни к чьей помощи». Лучше уж терпеть боль от нее, чем от этого верзилы, помощника директора. И я начинаю

вопить, будто мне и в самом деле нестерпимо больно. Как кошка, которая мурлычет, когда ее гладят, я, чтобы привести учительницу в хорошее расположение духа, изо всех сил стараюсь показать, что боль мне безразлична.

Когда какое-либо действие учителя не встречает ответной реакции учеников, тот будет снова и снова повторять его, пока не добьется своего. У меня не было никакого желания быть наказанным, если этого можно избежать с помощью простой детской изворотливости. В общем, зря она все это затеяла.

Учительница оставила в покое мои горящие уши и, точно обжегшись кипящей кровью, пульсирующей в них, медленно, будто сжимая в руках по тяжелому камню, опустила руки на толстые выпирающие колени, обтянутые шароварами. Здоровенные, как у мужчины, грязные руки. «Как только вырвусь из класса, сразу же вымою уши под краном».

— Почему, ну почему ты вдруг стал таким плохим мальчиком? Объясни, в чем дело? Что ж, можешь молчать, я и так все прекрасно понимаю.

Перехватывает дыхание, лицо пылает. Внутри все горит, и даже послеполуденный воздух знойного лета несет прохладу. Учительница молчит, молчу и я. Кроме нас двоих, в классе нет никого. С реки сюда — школа стоит на горе — доносятся крики ребят и всплески воды. Ни на спортивной площадке, ни в других классах нет никого. В учительской, через две комнаты от нас, громко кричит радио и стоит гробовое молчание учителей, внимательно слушающих его и ничего не понимающих. От этого в волнении бьется сердце. «Важное сообщение», — так сказал директор школы. Мне кажется, учительница тоже хочет поскорее отделаться от меня, чтобы пойти слушать радио. Если б она это сделала, я бы сразу освободился от овладевшего мной гнетущего чувства.

Хлоп! И снова звенит щека, уши слышат этот звон. Потом боль отдается в голове. Похоже, учительница по-настоящему разозлилась. Выйдя из себя, она в бешенстве кричит писклявым голосом:

— Рассказывай все! И не вздумай ничего скрывать, я и так все знаю. Не хитри, рассказывай все!

«Ну что мне делать? Не могу же я ей все рассказать, — думаю я, глядя, как слеза с моей щеки катится по бороздке, прорезанной в парте перочинным ножом. — Нет, не могу я ей ничего рассказать».

Все началось с того самого дня, как один из курсантов, приехавших в деревню, сказал: «Война кончается. А ты, парень, еще слишком мал и на войну не успеешь!» Раньше, еще до приезда этого злосчастного курсанта, я как-то спросил отца: «Разве я смогу пойти на войну? Я еще совсем маленький и на войну не успею. Я, наверное, опоздаю на войну, а?»

«Не успеешь на войну? Опоздаешь на войну? Почему? Нет, ты не должен опоздать. Война, еще одна война, а потом снова война. Войны не кончаются. Нет, сынок, на войну ты наверняка не опоздаешь. — Так мне говорил отец. — На войну никто не опоздает. Все пойдут на войну, все станут солдатами». Так говорил отец. И у меня было чувство, что так говорили давно, очень, очень давно. Так говорили отцы еще со времен Дзимму, основателя империи. Отцы говорили это сыновьям после Дзимму, в течение многих веков, когда на смену одному императору приходил другой: «Нет, сынок, на войну ты наверняка не опоздаешь. На войну никто не опоздает! Все пойдут на войну, все станут солдатами! Ну, иди, играй, закаляйся. А то наденут на тебя солдатскую форму, а ты вон какой тщедушный». И вот я, чтобы стать сильным солдатом, стать крепким, как все солдаты из нашей деревни, вместо того, чтобы ходить, начал бегать, а во время уборки класса вместо

легких стульев двигал тяжелые столы — так я закалял себя.

В один прекрасный день курсант, приехавший со своими товарищами в нашу деревню на строительство скипидарного завода, курсант не в темно-синей форме с семью пуговицами, как на фотографиях, а в желтой рабочей одежде и выгоревшей военной фуражке, поселял во мне семена тревоги. Война кончается. А ты, парень, еще слишком мал и на войну не успеешь.

— С тех пор как у тебя умер отец, ты стал самым ленивым учеником.

Учительница сказала это тихо и грустно, чуть ли не со слезами в голосе, и в то же время убежденно, всем своим видом показывая, что она отказалась от мысли добиться от меня ответа. Я вздохнул с облегчением. Я спасен. Учительница ничего не знает о беспросветной тревоге, которую поселил в моем сердце курсант. Я раскаиваюсь в том, что опаздываю на уроки, в том, что не смотрю в глаза учительнице. Я вижу себя со стороны, в углу душной комнаты, освещенной послеполуденным солнцем, уже не испытывающим никакой тяжести от присутствия учительницы.

— Бедненький. Бедненький мальчик. После смерти отца ты живешь в каком-то постоянном страхе.

Учительница все говорит и говорит — это целый поток жалостливых слов, мягких, ласкающих душу слов. «Ошибаешься». Но я старательно, так старательно, что даже слезы на глаза навернулись, делаю вид, будто погружаюсь в эту тепловатую водичку сочувствия и ободрения. Потом я начинаю думать о жаре. Утром и то уже было жарко. У меня такая игра — и утром, и в полдень, и после полудня, и совсем к вечеру измерять, как накаляется и остывает летний день. Летний день, обжигающий щеки, как при лихорадке; летний день, палящий подсолнечник и траву под ним, голую красноватую

землю, костлявую спину белесой кошки. Я смотрю на все это, прижавшись щекой к оконному переплету, — вот мои приборы, которыми я измеряю летний день, измеряю высший его взлет в три часа пополудни. Летний день первого разряда, второго разряда; летний день вне разряда, особый, неслыханный в прошлом летний день. Я измеряю его и в соответствии с показаниями своих приборов готовлюсь к послеполуденному времени. Сколько налить воды курам? Нужно ли укрыть травой оцинкованную крышу? Нужно ли оттащить подальше в сарай клетку с кроликами? Стоит ли еще утром нарвать персиков и тут же все съесть? Или, может быть, если они не перезреют, треть оставить на дереве до вечера? Когда все готово, я спускаюсь к реке, по дороге протирая стекло маски, смочив ее росой с полыни. До самого вечера я спасаюсь от летней жары на реке. Голый и мокрый.

Сегодняшний день я еще утром определил как неслыханный в прошлом. А сейчас, во второй половине дня, он достиг апогея и его внешняя оболочка, с трудом сохраняя равновесие, дрожит, готовая взорваться.

— Крепись. Ты не должен падать духом, как не падают духом летчики и солдаты на фронте.

Учительница шепчет слова утешения, наклонив ко мне свое толстое красное лицо, покрытое потом. Меня начинает тошнить — так пахнет у нее изо рта. Я задерживаю дыхание и кошу глаз в сторону, избегая ее взгляда. На белом прямоугольнике спортивной площадки, пустой из-за жары, неожиданно появляются две черные фигуры — они привлекают мое внимание.

Мальчик примерно моего возраста, с трудом кончиками пальцев нажимая на педали старого, похожего на долговязую клячу велосипеда, делает круг за кругом в центре площадки. Двигающаяся короткая тень велосипеда горбит прочерченную им колею, точно выгибает

спину неведомый зверь. Нестерпимо жаркий воздух маревом колыхнется над спортивной площадкой, усыпанной мелким гравием. Если долго пристально смотреть, к горлу подступает тошнота. Круг, по которому движется велосипед, все сужается. В центре стоит женщина в соломенной шляпе и полотняном платье, городская женщина, толстая и бесформенная, как бревно, и, изнемогая от жары, присматривает за сыном. Правда, на него она не смотрит, стоит, молча опустив голову, чем-то озабоченная. Эту женщину я уже встречал на почте. Я видел ее, когда однажды зашел купить открытки. Деревенские ребята, переступая с ноги на ногу на солнцепеке, столпились у почты и в восторге молча пялили на нее глаза. В полутемном помещении почты белое полотняное платье казалось особенно ярким. Мать эвакуированного мальчика. Все время, когда говорит с ним, называет себя «мама», «мама». У меня пропала охота покупать открытки. Захотелось избить и деревенских ребят, чтобы не таращили на человека глаза, и этого эвакуированного. А потом женщина повернула к нам скуластое, сплошь поросшее светлым пухом лицо, и все ребята, в том числе и я, пораженные отступили...

Круг, по которому бесшумно крутится велосипед, все сужается и сужается, и наконец до плеча сидящего на нем мальчика дотягивается рука матери. Мальчик слезает с велосипеда. И оба, переговариваясь и толкая велосипед, уходят в сторону колодца.

Радио из учительской кричит все громче, запах от учительницы все нестерпимее. «Мало того что мне приходится выслушивать ее ругань, я должен еще нюхать ее пот».

— Вчера приходила твоя мать, — говорит учительница.

«Ага, вот почему меня оставили сегодня после уроков. Теперь все ясно». Я испытываю огромное облегче-

ние, даже проникаюсь чувством дружбы ко всем людям в мире, исключая американцев и англичан.

— Ты думаешь об отце? — говорит учительница.

— Думаю, — впервые открываю я рот.

Отец говорил: «Все пойдут на войну, все станут солдатами! Ну, иди, играй, закаляйся!» Но сам отец на войну не пошел. Он умер и тем самым лишил себя возможности стать солдатом. Умерев, он лежит сейчас в земле, смешавшись с корнями травы, высохшими трупами червяков и личинок, с бесчисленным множеством старых трупов, холодной галькой, перемываемой грунтовыми водами. Когда началась война, он уже давно был мертв и бессилён помочь мне, покоился в земле. Письма дяди, приходившие с далекого острова Лейте, звали к отцу как к живому человеку — их складывали у алтаря. Дядя — боевой офицер, сражающийся теперь на Сайпане, — сейчас, под вечер, может быть, пишет свое очередное письмо отцу, считая его живым. Наша семья, от горя потеряв жизненные силы и мужество, так и не сообщила дяде о смерти его брата.

— Твоя мать сказала мне, что ни разу не видела во сне отца. Ты знаешь об этом?

— Да, — сказал я.

Отец умер, и его распухшее белое тело лежит в земле, как личинка огромного насекомого. У него просто нет сил послать весточку на землю. Но все-таки, может быть, это неправда, что мать не видит во сне отца? Мать, однажды разозлившись, теперь ненавидит меня! И, может быть, поэтому не говорит мне правду, не рассказывает, что видит во сне отца, зная, как это важно для меня. С тех пор как умер отец, мать возненавидела меня.

— А почему? — допытывается учительница.

— Не знаю.

Она с маху бьет меня по щеке. На этот раз я не могу сдержать стона от настоящей боли.

— Закрой глаза, отвратительный мальчишка, и думай об отце. Закрой глаза и думай о нем три минуты. Следующий раз не будешь говорить: «Не знаю».

Я закрываю глаза. Запах, исходящий от тела учительницы, заполняет весь окружающий мир.

Отец был веселым, добродушным человеком. Вечно он напевал что-нибудь себе под нос, напевал и делал свою работу — увязывал белые кругляки бумажного дерева, их отправляли на бумажную фабрику. Крестьянки, сидя на циновках, тонкими ножами сдирали кору с чурок, потом чурки вымачивали и сушили. Высушенные белые кругляки связывали и складывали штабелями во дворе, там всегда стоял приятный, свежий запах. А содранная черная кора и желтое лыко валялись на земле, источая отвратительный запах гнили.

Я гордился отцом. Отец тихо напевал и делал свое дело. Безразлично напевал, без всякого выражения. Пел, точно презирая песню. Он презирал женщин, пришедших на работу, презирал песню. Он хотел одного — пойти на фронт. И только призывная повестка, которая пришла бы однажды утром, не была бы ему безразлична. Но повестка отцу не пришла. Смерть затянула отца во мрак, как в заячий капкан.

— Ну, хватит! А теперь посмотри мне в глаза. Если у тебя совесть нечиста, ты не сможешь смотреть мне в глаза.

Я стал смотреть в злые, с желтоватыми белками глаза учительницы. В них отразилось мое испуганное лицо.

— Почему ты не звал отца? Если б ты позвал, он не умер бы, к нему, может быть, вернулось бы сознание. Мать на тебя очень сердита за то, что ты не послушал ее.

«Ничего подобного. Даже если б я кричал у него над самым ухом, отец все равно не ожил бы. Это глупое суеверие — думать, что если мальчик будет звать умирающего, тот воскреснет. Отец был без сознания, но

глаза у него были приоткрыты, и казалось, он высматривает что-то, прищурившись, будто смотрит на блестящее облако. Вот почему мать, дядя и соседи думали, что он не умер. Младшая сестра, младший брат, старшая сестра — все вместе, наклонившись к самому уху отца, звали его: „Отец, вернись!“ Все мне говорили, чтобы я тоже звал. „Зови!“ — говорили они. Но я упорно молчал. Мать зло, холодными глазами глянула на меня. И с тех пор она меня ненавидит. Соседи тоже считали меня чудовищем, у которого глаза источают яд. И они отворачивались, чтобы не встречаться со мной взглядом. Я остался один — изгнанный из круга плакавшей навзрыд семьи, изгнанный из круга добросердечных соседей. Потом я стал думать о том, что отец ни за что не оживет, стал думать о призывной повестке, которая так и не пришла отцу».

— Почему ты не звал отца? Хотя сам себе ответь на этот вопрос. Почему? Подумай почему?

Я думал об этом не раз. Даже когда умирал отец, думал: «Мать всю жизнь будет упрекать меня за то, что я не зову отца, брат и сестры тоже... Все отвернутся от меня, если только я не стану звать отца». И все равно я не сделал этого. Кричать в ухо отцу, который ни за что не оживет, в ухо отцу, который уже ничего не слышит, — это похоже на игру, и мне было стыдно. И было стыдно не столько перед живыми, сидевшими при ярком электрическом свете, забыв, что его нужно экономить, до дрожи стыдно перед самим отцом, погружившимся в мир смерти и пристально высматривавшим что-то, было стыдно обращаться с ним как с живым человеком. Отец высматривал что-то. Это что-то — чудовище. Как пожар, огромное багровое чудовище, грохочет и воет в самом обычном доме, так же и смерть — огромное чудовище, и только что умерший, только что начавший спускаться вниз по дороге смерти отец, объятый стра-

хом, дрожа от ужаса и стараясь преодолеть его, безропотно смотрел на чудовище в ярко освещенной спальне. Мне было стыдно даже того, что я, живой, стою у него перед глазами. Но если бы я признался, что мне стыдно, никто бы меня все равно не понял. Нет, никто бы не понял. Потому что никто не видел этих глаз. Да и сейчас скажи я, что не сделал этого потому, что мне было стыдно, она бы снова влепила мне пощечину. А я не хочу, чтобы меня била эта женщина.

— Говори уже! Что ты молчишь? Почему ты не стал звать отца?

— Он же умер. Я не успел, — сказал я, изображая сожаление.

— Лжешь! У отца были открыты глаза, он искал глазами своих детей и ждал, чтобы они окликнули его.

— Он уже умер. И не хотел смотреть на детей.

— Умер?! Разве мертвые смотрят открытыми глазами? А он смотрел. А если ты еще будешь упорствовать, ты до ночи останешься в классе.

— Умер, — охваченный вдруг глубокой тоской, сказал я учительнице, возвышавшейся надо мной, как скала. — Совсем умер.

— Лжешь, — возразила скала.

— Умер же, умер! Когда заяц умирает, у него бывают такие же глаза. И двигает он ими, но все равно он уже мертвый.

Учительница трижды ударила меня по щекам. Из носа к уголкам рта потекли струйки крови, и теплые капли упали мне на колени. «За что, за что?» — думал я и, чтобы не расплакаться, пытался задержать дыхание. Но вслед за струйками крови медленно потекли слезы. Я понемногу слизывал кровь и слезы. Меня охватила бешеная злоба. Значит, мать специально приходила к учительнице, ей мало одной ненавидеть меня, они сговорились!

И учительницу охватила злоба, глаза у нее налились кровью, ее всю трясло от злости.

— Когда заяц умирает... — бормотала она, просто наливаясь злобой. — Дурак! Когда заяц умирает! Для него что смерть родного отца, что какой-то паршивый заяц!

Я промолчал и решил, что ни за что больше ни слова не скажу этой уродине. «Самый паршивый заяц красивее тебя, дура». Я отвернулся от нее и, перескочив взглядом спортивную площадку, стал смотреть на покрытые лесом горы, на небо.

Моя деревня лежит в долине. Горы обступают ее со всех сторон, и откуда ни смотри, виден не бескрайний небесный простор, а лишь четырехугольный клочок неба, точь-в-точь школьный стадион. А когда разгорается закат, небо похоже на залитое кровью поле битвы. Поле битвы в моем сознании почему-то всегда сливалось со спортивной площадкой и представлялось таким же прямоугольным. Казалось, я видел, как на обагрённом закатом прямоугольнике неба всплывает поле битвы в Бирме, и мне даже ничего не стоило различить обожженные лица погибших в бою солдат, мрачные, застывшие под стальными касками лица. Может быть, я видел их во сне. Но иногда мне кажется, что все это было на самом деле.

Дрожащие от злости крючковатые пальцы учительницы впиваются мне в ухо. Она снова поворачивает меня к себе лицом, и я должен смотреть ей в глаза. Она злится, как собака на цепи. И всю свою злобу она хочет излить на меня. Когда я посмотрел ей в глаза, меня чуть не стошнило. От них точно зловоние исходило. «И она еще орет на меня».

— Ах ты, косоглазый! Опять по сторонам смотришь! Для него что отец, что заяц, косоглазая образина.

Учительница не отпускает уха, а я стою зажмурившись и, вместо того, чтобы смотреть ей в глаза, пытаюсь

разглядеть, что творится в моем сердце, различить спрятавшегося в нем зверька. Чем, интересно, этой уродине заяц не по душе? Разве любой урод только потому, что он человек, имеет право издеваться над зверем? «Когда умирал отец, у него были такие же глаза, как у умирающего зайца, такие же удивительно прекрасные глаза. Разве во всем мире только я один заметил это?» Я стою и думаю о капканах, расставленных браконьерами в лесной глуши, вижу беззащитного зайца, попавшего в капкан и умирающего от страха, от нестерпимого страха. У зайца, лежавшего в темных зарослях папоротника, были широко открыты глаза, но он уже не видел ими. В его глазах отражалась темная зелень леса, и все, в них не теплились даже искорки жизни. Смертельный ужас, бессилие и страх — потом в них бескрайне разлился один только темно-зеленый лес — поглотили жизнь зайца, жизнь самого проворного обитателя леса. Мне удалось освободить зайца из капкана. Но заяц, у которого от ужаса и кровь, наверно, стала темно-зеленой, был уже мертв и, точно превратившись в крота, уткнулся носом в прелые листья. У меня неостало сил избавиться от нестерпимой боли, ведь заяц был смертельно отравлен страхом! Плача, я содрал с него шкуру, намочил в горной речушке газету, обернул в нее красное тельце, обернул в нее красное, с содранной шкуркой тельце, напоминающее обнаженного человека, засыпал землей, разжег над ним костер и, поджарив, съел его — ничего другого мне не оставалось. Лишь во рту чувствовался кисловатый привкус страха, пережитого зайцем. Браконьеры пылали злобой к грабителям их капканов, лишившим их добычи. В лесу торчало множество загадочных распятий, изваяний зайцев, состоявших из одной шкуры, и никто даже представить себе не мог, как часто возникала угроза лесного пожара от наших костров, а мы с братом жирели, как настоящие помещики. Сообрази-

тельность, которая выработалась благодаря скитаниям в лесной глуши у нас, мальчишек, просыпавшихся раньше браконьеров, эта сообразительность помогла мне понять, что было в глазах умирающего отца. Он попал в капкан. И, если б даже удалось высвободить его, отец все равно умер бы, точно крот, уткнувшись носом в прелые листья. Его схватил капкан. А когда попадаешь в капкан — живым не вырвешься. В глазах отца тихо мерцал тот же блеск, что и в глазах зайца, охваченного страхом и не имевшего сил даже для скорби. Потом их заволокло, будто слезами, тьмой и зеленью дремучего леса. Точно спустился занавес. Я смотрел в глаза отца. Вместо темно-зеленого мрака лесной глуши в них отражалась яркая электрическая лампочка, отражались окружавшие его люди, отражался врач, отражались плакавшие навзрыд мать, сестры, брат. Да, они плакали навзрыд. В моих ушах до сих пор звучат их истошные голоса. Окруженный этими воплями, я не слышал, что делалось вокруг, и, чувствуя свое полное одиночество, смотрел, как отец погружается в смерть. В ту минуту я по-новому ощутил мир звуков — я однажды уже испытал такое, когда, глядя, как умирает заяц в лесу, вдруг услышал в тихом безмолвии грохот низвергавшегося водопада. «Оставшиеся в живых все ненавидят меня. Но отец, я же знаю, умер без ненависти ко мне. А теперь все хотят доказать, что он ненавидел меня. И, чтобы заставить меня поверить в это, призвали даже на помощь учительницу. Но это вранье. Так же как вранье и то, что человек и заяц умирают по-разному. Только солдаты, геройски погибающие на поле боя, имеют право умереть не так, как умирает заяц. А все остальные умирают точно так же, как зайцы». Я любил отца, любил зайца. Но ни отец, ни заяц не были моими товарищами, моими боевыми друзьями. Только когда я пойду на войну, я смогу найти там настоящих друзей. И там я не погиб-